НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ

Один из самых известных русских религиозных и политических философов

# САМОПОЗНАНИЕ

ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
БОЛЕЕ ТАИНСТВЕННА, ЧЕМ МИР.
ОНА И ЕСТЬ ЦЕЛЫЙ МИР.

# Николай Александрович Бердяев
# Самопознание
## Серия «Философия в кармане»

*Текст предоставлен правообладателем*
*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65847201*
*Самопознание / Николай Бердяев.: Эксмо; Москва; 2021*
*ISBN 978-5-04-156250-2*

## Аннотация

Николай Бердяев – выдающийся русский философ, выступал как идеолог персонализма. Он верил в исключительность каждой личности и ее силу. Философ полагал, что внутренняя жизнь каждого отдельного человека отчуждена от внешнего мира. Он видел глубокий конфликт, в котором находился современный ему человек с внешним миром и обществом, стремившимся подавить его внутреннюю духовную жизнь. «Самопознание» – одно из последних произведений Бердяева, некий итог его философского наследия. Вечные вопросы, над которыми размышлял Бердяев, – любовь, одиночество, свобода, бунтарство, смысл жизни и его поиски – сегодня актуальны как никогда, идеи мыслителя оригинальны и современны, его стиль – величайшее явление русского языка.

*В формате PDF A4 сохранен издательский макет.*

# Содержание

Предисловие 5
Глава I 13
Глава II 59
Конец ознакомительного фрагмента. 60

# Николай Бердяев
# Самопознание

*Личность человеческая*
*более таинственна, чем мир.*
*Она и есть целый мир.*

**Николай Александрович Бердяев**

Один из самых известных русских религиозных и политических философов

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

# Предисловие

Книга эта мной давно задумана[1]. Замысел книги мне представляется своеобразным. Книги, написанные о себе, очень эгоцентричны. В литературе «воспоминаний» это часто раздражает. Автор вспоминает о других людях и событиях и говорит больше всего о себе. Есть несколько типов книг, написанных о себе и своей жизни. Есть, прежде всего, дневник, который автор вел из года в год, изо дня в день. Это очень свободная форма, которую сейчас особенно любят французы. «Дневник» Амиеля[2] – самый замечательный образец этого типа, из более новых – Journal[3] А. Жида. Есть исповедь. Блаженный Августин и Ж. Ж. Руссо дали наиболее прославленные примеры. Есть воспоминания. Необъятная литература, служащая материалом для истории. «Былое и думы» Герцена – самая блестящая книга воспоминаний. Наконец, есть автобиография, рассказывающая события жизни внешние и внутренние в хронологическом порядке. Все эти типы книг хотят с большей или меньшей правдивостью и точностью рассказать о том, что было, запечатлеть бывшее. К бывшему принадлежат, конечно, и мысли и чувства авторов. Моя книга не принадлежит вполне ни к одному из этих типов. Я никогда не писал дневника. Я не собираюсь публично каяться. Я не хочу писать воспоминаний о событиях

жизни моей эпохи, не такова моя главная цель. Это не будет и автобиографией в обычном смысле слова, рассказывающей о моей жизни в хронологическом порядке. Если это и будет автобиографией, то автобиографией философской, историей духа и самосознания. Воспоминание о прошлом никогда не может быть пассивным, не может быть точным воспроизведением и вызывает к себе подозрительное отношение. Память активна, в ней есть творческий, преображающий элемент, и с ним связана неточность, неверность воспоминания. Память совершает отбор, многое она выдвигает на первый план, многое же оставляет в забвении, иногда бессознательно, иногда же сознательно. Моя память о моей жизни и моем пути будет сознательно активной, то есть будет творческим усилием моей мысли, моего познания сегодняшнего дня. Между фактами моей жизни и книгой о них будет лежать акт познания, который меня более всего и интересует. Гёте написал книгу о себе под замечательным заглавием «Поэзия и правда моей жизни». В ней не все правда, в ней есть и творчество поэта. Я не поэт, я философ. В книге, написанной мной о себе, не будет выдумки, но будет философское познание и осмысливание меня самого и моей жизни. Это философское познание и осмысливание не есть память о бывшем, это есть творческий акт, совершаемый в мгновении настоящего. Ценность этого акта определяется тем, насколько он возвышается над временем, приобщается ко времени экзистенциальному, то есть к вечно-

сти. Победа над смертоносным временем всегда была основным мотивом моей жизни. Книга эта откровенно и сознательно эгоцентрическая. Но эгоцентризм, в котором всегда есть что-то отталкивающее, для меня искупается тем, что я самого себя и свою жизненную судьбу делаю предметом философского познания. Я не хочу обнажать души, не хочу выбрасывать вовне сырья своей души. Эта книга по замыслу своему философская, посвященная философской проблематике. Дело идет о самопознании, о потребности понять себя, осмыслить свой тип и свою судьбу. Так называемая экзистенциальная философия, новизна которой мне представляется преувеличенной, понимает философию как познание человеческого существования и познание мира через человеческое существование. Но наиболее экзистенциально собственное существование. В познании о себе самом человек приобщается к тайнам, неведомым в отношении к другим. Я пережил мир, весь мировой и исторический процесс, все события моего времени как часть моего микрокосма, как мой духовный путь. На мистической глубине все происшедшее с миром произошло со мной. И настоящее осмысливание заключается в том, чтобы понять все происшедшее с миром как происшедшее со мной. И тут я сталкиваюсь с основным противоречием моей противоречивой натуры. С одной стороны, я переживаю все события моей эпохи, всю судьбу мира как события, происходящие со мной, как собственную судьбу, с другой стороны, я мучительно переживаю чуждость ми-

ра, далекость всего, мою неслиянность ни с чем. Если бы я писал дневник, то, вероятно, постоянно записывал в него слова: «Мне было это чуждо, я ни с чем не чувствовал слияния, опять, опять тоска по иному, по трансцендентному». Все мое существование стояло под знаком тоски по трансцендентному.

Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей родины, и для всего мира. На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я мог наблюдать необычайную превратность человеческих судеб. Я видел трансформации, приспособления и измены людей, и это, может быть, было самое тяжелое в жизни. Из испытаний, которые мне пришлось пережить, я вынес веру, что меня хранила Высшая Сила и не допускала погибнуть. Эпохи, столь наполненные событиями и изменениями, принято считать интересными и значительными, но это же эпохи несчастные и страдальческие для отдельных людей, для целых поколений. История не щадит человеческой личности и даже не замечает ее. Я пережил три войны, из которых две могут быть названы мировыми, две революции в России, малую и большую, пережил духовный ренессанс начала XX века, потом русский коммунизм, кризис мировой культуры, переворот в Германии, крах Франции и оккупацию ее победителями, я пережил изгнание, и изгнанничество мое не кончено. Я мучительно переживал страшную войну против России. И я еще не знаю, чем окончатся мировые потрясения. Для философа было слиш-

ком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири, был выслан из своей родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании. И вместе с тем я никогда не был человеком политическим. Ко многому я имел отношение, но, в сущности, ничему не принадлежал до глубины, ничему не отдавался вполне, за исключением своего творчества. Глубина моего существа всегда принадлежала чему-то другому. Я не только не был равнодушен к социальным вопросам, но и очень болел ими, у меня было «гражданское» чувство, но в сущности, в более глубоком смысле, я был асоциален, я никогда не был «общественником». Общественные течения никогда не считали меня вполне своим. Я всегда был «анархистом» на духовной почве и «индивидуалистом».

Книга моя написана свободно, она не связана систематическим планом. В ней есть воспоминания, но не это самое главное. В ней память о событиях и людях чередуется с размышлением, и размышления занимают больше места. Главы книги я распределил не строго хронологически, как в обычных автобиографиях, а по темам и проблемам, мучившим меня всю жизнь. Но некоторое значение имеет и последовательность во времени. Наибольшую трудность я вижу в том, что возможно повторение одной и той же темы в разных главах. Единственное оправдание, что тема вновь будет возникать в другой связи и другой обстановке. Я решаюсь занять

собой не только потому, что испытываю потребность себя выразить и отпечатлеть свое лицо, но и потому, что это может способствовать постановке и решению проблем человека и человеческой судьбы, а также пониманию нашей эпохи. Есть также потребность объяснить свои противоречия. Такого рода книги связаны с самой таинственной силой в человеке, с памятью. Память и забвение чередуются. Я многое на время забываю, многое исчезает из моего сознания, но сохраняется на большей глубине. Меня всегда мучило забвение. Я иногда забывал не только события, имевшие значение, но забывал и людей, игравших роль в моей жизни. Мне всегда казалось, что это дурно. В памяти есть воскрешающая сила, память хочет победить смерть. Но наступало мгновение, когда я вновь вспоминал забытое. Память эта имела активно-преображающий характер. Я не принадлежу к людям, обращенным к прошлому, я обращен к будущему. И прошлое имеет для меня значение, как чреватое будущим. Мне не свойственно состояние печали, характерное для людей, обращенных к прошлому. Мне свойственно состояние тоски, что совсем иное означает, чем печаль. Я человек более драматический, чем лирический, и это должно отпечатлеться на моей автобиографии. Думая о своей жизни, я прихожу к тому заключению, что моя жизнь не была жизнью метафизика в обычном смысле слова. Она была слишком полна страстей и драматических событий, личных и социальных. Я искал истины, но жизнь моя не была мудрой, в ней не гос-

подствовал разум, в ней было слишком много иррационального и нецелесообразного. Светлые периоды моей жизни чередовались с периодами сравнительно темными и для меня мучительными, периоды подъема чередовались с периодами упадка. Но никогда, ни в какие периоды я не переставал напряженно мыслить и искать. Наиболее хотел бы я воскресить более светлые и творческие периоды моей жизни. Хотел бы я, чтобы память победила забвение в отношении ко всему ценному в жизни. Но одно я сознательно исключаю, я буду мало говорить о людях, отношение с которыми имело наибольшее значение для моей личной жизни и моего духовного пути. Это понятно. Но память наиболее это хранит и хранит для вечности. Марсель Пруст, посвятивший все свое творчество проблеме времени, говорит в завершительной своей книге: «книге Le temps retrouve: «J avais trop experimente 1 impossibilit? d atteindre dans la realite ce qui etait au fond moi-meme»[4]. Эти слова я мог бы взять эпиграфом к своей книге. То, о чем говорит Пруст, было опытом всей моей жизни. Противоречив замысел моей книги уже потому, что самый скрытный человек пытается себя раскрыть. Это очень трудно. Дискретность не позволяет мне говорить о многом, что играло огромную роль не только во внешней, но и во внутренней моей жизни.

С трудом выразима та положительная ценность, которая получена от общения с душой другого. С трудом выразим и скрытый трагизм жизни. Несмотря на западный во мне эле-

мент, я чувствую себя принадлежащим к русской интеллигенции, искавшей правду. Я наследую традицию славянофилов и западников, Чаадаева и Хомякова, Герцена и Белинского, даже Бакунина и Чернышевского, несмотря на различие миросозерцаний, и более всего Достоевского и Л. Толстого, Вл. Соловьева и Н. Федорова. Я русский мыслитель и писатель. И мой универсализм, моя вражда к национализму русская черта. Кроме того, я сознаю себя мыслителем аристократическим, признавшим правду социализма. Меня даже называли выразителем аристократизма социализма. Мной руководило желание написать эту книгу с наибольшей простотой и прямотой, без художественного завуалирования. То, что носит характер воспоминаний и является биографическим материалом, написано у меня сухо и часто схематично. Эти части книги мне нужны были для описания разных атмосфер, через которые я проходил в истории моего духа. Но главное в книге не это, главное – самопознание, познание собственного духа и духовных исканий. Меня интересует не столько характеристика среды, сколько характеристика моих реакций на среду.

Писано в Clamart и Pilat-plage в 1940 году.

# Глава I
# Истоки и происхождение. Я и мировая среда. Первые двигатели. Мир аристократический

*«Мир не есть мысль, как думают философы. Мир есть страсть. Охлаждение страсти дает обыденность».*

Истоки человека лишь частично могут быть поняты и рационализированы. Тайна личности, ее единственности, никому не понятна до конца. Личность человеческая более таинственна, чем мир. Она и есть целый мир. Человек микрокосм и заключает в себе все. Но актуализировано и оформлено в его личности лишь индивидуально-особенное. Человек есть также существо многоэтажное. Я всегда чувствовал эту свою многоэтажность. Огромное значение имеет первая реакция на мир существа, в нем рождающегося. Я не могу помнить первого моего крика, вызванного встречей с чуждым мне миром. Но я твердо знаю, что я изначально чувствовал себя попавшим в чуждый мне мир, одинаково чувствовал это и в первый день моей жизни, и в нынешний ее день. Я всегда был лишь прохожим. Христиане должны себя чувствовать не имеющими здесь пребывающего града и гра-

да грядущего взыскующими. Но то первичное чувство, которое я здесь описываю, я не считал в себе христианской добродетелью и достижением. Иногда мне казалось, что в этом есть даже что-то плохое, есть какой-то надлом в отношении к миру и жизни. Мне чуждо было чувство вкорененности в землю. Мне более свойственно орфическое понимание происхождения души, чувство ниспадания ее из высшего мира в низший.

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли[5].

У меня никогда не было чувства происхождения от отца и матери, я никогда не ощущал, что родился от родителей. Нелюбовь ко всему родовому характерное мое свойство. Я не люблю семьи и семейственности, и меня поражает привязанность к семейному началу западных народов. Некоторые друзья шутя называли меня врагом рода человеческого. И это при том, что мне очень свойственна человечность. У меня всегда была мучительная нелюбовь к сходству лиц, к сходству детей и родителей, братьев и сестер. Черты родового сходства мне представлялись противоречащими достоинству человеческой личности. Я любил лишь «лица необщее выражение»[6]. Но ошибочно было бы думать, что я не любил своих родителей. Наоборот, я любил их, считал хорошими людьми, но относился к ним скорее как отец к детям,

заботился о них, боялся, чтобы они не заболели, и мысль об их смерти переживал очень мучительно. У меня всегда было очень слабое чувство сыновства. Мне ничего не говорило «материнское лоно», ни моей собственной матери, ни матери-земли. Мать моя была очень красива, ее считали даже красавицей. В 50 лет она была еще очень красивой женщиной. Но я никогда не мог открыть в себе ничего похожего на Эдипов комплекс, из которого Фрейд создал универсальный миф. Родство всегда казалось мне исключающим всякую влюбленность. Предмет влюбленности должен быть далеким, трансцендентным, не похожим на меня. На этом ведь был основан культ «прекрасной дамы». Я русский романтик начала XX века.

По своему происхождению я принадлежу к миру аристократическому. Это, вероятно, не случайно и наложило печать на мою душевную формацию. Мои родители принадлежали к «светскому» обществу, а не просто к дворянскому обществу. В доме у нас говорили главным образом по-французски. Родители мои имели большие аристократические связи, особенно в первую половину жизни. Эти связи были частью родственные, частью по службе моего отца в кавалергардском полку. В детстве мне было известно, что мои родители были друзья обергофмейстерины княгини Кочубей, которая имела огромное влияние на Александра III. Дворцовый комендант, генерал-адъютант Черевин, тоже близкий Александру III, был товарищем моего отца по кавалергардскому

полку. Со стороны отца я происходил из военной семьи. Все мои предки были генералы и георгиевские кавалеры, все начали службу в кавалергардском полку. Мой дед М. Н. Бердяев был атаманом войска Донского. Прадед генерал-аншеф Н. М. Бердяев был новороссийским генерал-губернатором. Его переписка с Павлом I была напечатана в «Русской старине». Отец был кавалергардским офицером, но рано вышел в отставку, поселился в своем имении Обухове, на берегу Днепра, был одно время предводителем дворянства, в Турецкую войну опять поступил на военную службу, потом в течение 25 лет был председателем правления Земельного банка Юго-Западного края. У него не было никакой склонности делать карьеру, и он даже отказался от чина, который ему полагался за то, что более двадцати пяти лет он был почетным мировым судьей. Я с детства был зачислен в пажи за заслуги предков. Но так как мои родители жили в Киеве, то я поступил в Киевский кадетский корпус, хотя за мной осталось право в любой момент быть переведенным в пажеский корпус. Мать моя была рожденная княжна Кудашева. Она была полуфранцуженка. Ее мать, моя бабушка, была графиня Шуазель. В сущности, мать всегда была более француженка, чем русская, она получила французское воспитание, в ранней молодости жила в Париже, писала письма исключительно по-французски и никогда не научилась писать грамотно по-русски, будучи православной по рождению, она чувствовала себя более католичкой и всегда молилась по француз-

скому католическому молитвеннику своей матери. Я шутя ей говорил, что она никогда не перешла с Богом на «ты». Интересно, что у меня была бабушка монахиня и прабабушка монахиня. Мать моего отца, рожденная Бахметьева, была в тайном постриге еще при жизни моего деда. Она была близка к Киево-Печерской лавре. Известный старец Парфений был ее духовником и другом, ее жизнь была им целиком определена. Помню детское впечатление. Когда умерла бабушка и меня привели на ее похороны, мне было лет шесть, я был поражен, что она лежала в гробу в монашеском облачении и ее хоронили по монашескому обряду. Монахи пришли и сказали: «Она наша». Бабушка моей матери, княгиня Кудашева, рожденная княжна Баратова, стала после смерти мужа настоящей монахиней. У меня и в советский период висел ее большой портрет масляными красками в монашеском облачении с очень строгим лицом. Бабушка Бердяева жила в собственном доме с садом в верхней старинной части Киева, которая называлась Печерск. Атмосфера Печерска была особая, это смесь монашества и воинства. Там была Киево-Печерская лавра, Никольский монастырь и много других церквей. На улицах постоянно встречались монахи. Там была Аскольдова могила, кладбище на горе над Днепром, где похоронена бабушка и другие мои предки. Вместе с тем Печерск был военной крепостью, там было много военных.

Это старая военно-монашеская Россия, очень мало подвергавшаяся модернизации. Киев – один из самых красивых

городов не только России, но и Европы. Он весь на горах, на берегу Днепра, с необыкновенно широким видом, с чудесным Царским садом, с Софиевским собором, одной из лучших церквей России. К Печерску примыкали Липки, тоже в верхней части Киева. Это дворянско-аристократическая и чиновничья часть города, состоящая из особняков с садами. Там всегда жили мои родители, там был у них дом, проданный, когда я был еще мальчиком. Наш сад примыкал к огромному саду доктора Меринга, занимавшему сердцевину Киева. У меня на всю жизнь сохранилась особенная любовь к садам. Но я чувствовал себя родившимся в лесу и более всего любил лес. Все мое детство и отрочество связано с Липками. Это уже был мир несколько иной, чем Печерск, мир дворянский и чиновничий, более тронутый современной цивилизацией, мир, склонный к веселью, которого Печерск не допускал. По другую сторону Крещатика, главной улицы с магазинами между двумя горами, жила буржуазия. Совсем внизу около Днепра был Подол, где жили главным образом евреи, но была и Киевская духовная академия. Наша семья, хотя и московского происхождения, принадлежала к аристократии Юго-Западного края, с очень западными влияниями, которые всегда были сильны в Киеве. Особенно семья моей матери была западного типа, с элементами польскими и французскими. В Киеве всегда чувствовалось общение с Западной Европой. Я с детства часто ездил за границу. Первый раз ездил за границу семи лет в Карлсбад, где моя

мать лечила болезнь печени. Первое мое впечатление от заграницы была Вена, которая мне очень понрави- лась.

Из моих предков наиболее яркой и интересной фигурой был мой дед М. Н. Бердяев. О нем я слыхал много рассказов с детства. Отец любил рассказывать, как дед победил Наполеона. В 1814 году, в Кульмском сражении, армия Наполеона побеждала русскую и немецкую армии. В той части русской армии, где находился мой дед, были убиты все начальствовавшие, начиная с генерала. Мой дед был молодым поручиком кавалергардского полка, но должен был вступить в командование целой частью. Он перешел в бурное наступление и атаковал французскую армию. Французы подумали, что противник получил подкрепление. Армия Наполеона дрогнула и проиграла Кульмское сражение. Мой дед получил Крест Святого Георгия и прусский Железный Крест. Другой рассказ. Дед командует полком. Он исключительно хорошо относился к солдатам. Для военного времени Николая I он был исключительно гуманным человеком. По рассказам отца, он всегда с отвращением относился к крепостному праву и стыдился его. После того, как он был произведен в генералы и отправился на войну, солдаты его полка поднесли ему медаль в форме сердца с надписью: «Боже, храни тебя за твою к нам благодетель». Эта медаль всегда висела у отца в кабинете, и он особенно ею гордился. Третий рассказ. Дед – атаман Войска Донского. Приезжает Николай I и хочет уничтожить казацкие вольности. Это была тенденция к

унификации. Был парад войска в Новочеркасске, и Николай I обратился к моему деду, как начальнику края, с тем, чтобы было приведено в исполнение его предписание об уничтожении казацких вольностей. Мой дед говорит, что он считает вредным для края уничтожение казацких вольностей, и просит уволить его в отставку. Все в ужасе и ждут кар со стороны Николая I, который нахмурился. Но потом настроение его меняется, он целует деда и отменяет свое распоряжение. Уже старым и больным дед проявлял нелюбовь к монахам, хотя он был православным по своим верованиям.

Тут уместно сказать о некоторых наследственных свойствах характера нашей семьи. Я принадлежу к расе людей чрезвычайно вспыльчивых, склонных к вспышкам гнева. Отец мой был очень добрый человек; но необыкновенно вспыльчивый, и на этой почве у него было много столкновений и ссор в жизни. Брат мой был человек исключительной доброты, но одержимый настоящими припадками бешенства. Я получил по наследству вспыльчивый, гневливый темперамент. Это русское барское свойство. Мальчиком мне приходилось бить стулом по голове. С этим связана и другая черта – некоторое самодурство. При всех добрых качествах моего отца, я в его характере замечал самодурство. Этот недостаток барски-русский есть и у меня. Я иногда замечаю что-то похожее на самодурство даже в моем процессе мысли, в моем познании. Если глубина духа и высшие достижения личности ничего наследственного в себе не заключа-

ют, то в душевных и душевно-телесных свойствах есть много наследственного. Когда я был в ссылке в Вологде, то побил палкой чиновника Губернского правления за то, что тот преследовал на улице знакомую мне барышню. Побив его, я ему сказал: «Завтра вы будете уволены в отставку». Очевидно, кровь предков мне бросилась в голову. Мне приходилось испытывать настоящий экстаз гнева. Вспоминая свое прошлое, я думаю, что мог часто безнаказанно проявлять такую гневливость и вспыльчивость потому, что находился в привилегированном положении. Мы жили еще в патриархальных нравах. Мой отец, который во вторую половину жизни имел взгляды очень либеральные, не представлял жизни иначе, чем в патриархальном обществе, где родственные связи играют определенную роль. Когда меня арестовали и делали обыск, то жандармы ходили на цыпочках и говорили шепотом, чтобы не разбудить отца. Жандармы и полиция знали, что отец на «ты» с губернатором, друг генерал-губернатора, имеет связи в Петербурге. Будучи социал-демократом и занимаясь революционной деятельностью, я, в сущности, никогда не вышел окончательно из положения человека, принадлежащего к привилегированному, аристократическому миру. И это и после того, как я сознательно порвал с этим миром. Так создавалось некоторое неравенство с моими товарищами, которые всегда меня чувствовали барином.

Из людей, окружавших меня в детстве, особенно запечатлелся мне образ моей няни Анны Ивановны Катаменковой.

Русская няня была поразительным явлением старой России. Можно поражаться, как она могла вырасти на почве крепостного права. Моя няня была крепостной моего деда. Она была няня двух поколений Бердяевых, моего отца и моей. Отец относился к ней с огромной любовью и уважением. Она представляла собой классический тип русской няни. Горячая православная вера, необыкновенная доброта и заботливость, чувство достоинства, возвышавшее ее над положением прислуги и превращавшее ее в члена семьи. Няни в России были совсем особым социальным слоем, выходящим из сложившихся социальных классов. Для многих русских бар няня была единственной близкой связью с народом. Моя няня умерла в глубокой старости, когда мне было около четырнадцати лет. Первое мое впечатление связано с ней. Помню, что я с няней иду по аллее сада в родовом имении моего отца, Обухове, на берегу Днепра. Мне было, вероятно, года три или четыре. До этого ничего не могу припомнить. После этого тоже некоторое время ничего не припоминаю. Следующее воспоминание уже связано с нашим домом в Киеве. Родовое имение моего отца было продано, когда я был еще ребенком, и был куплен в Киеве дом с садом. Отец мой всегда имел тенденцию к разорению. Всю жизнь он не мог утешиться, что имение продано, и тосковал по нем. У него было тяготение к деревне. Мать же больше любила город. На этой почве были споры. Я всегда мечтал о деревне и надеялся, что отец купит новое имение, хотя бы более скромное. В воображении ча-

сто представлял себе, какой будет усадьба, непременно около леса, столь мною любимого. Но этого не случилось. У моего отца оставалось еще майоратное имение в Польше, пожалованное моему деду за заслуги. В этом майоратном имении, находившемся на самой границе Германии, мы никогда не жили. Оно было в аренде. Я всего раз в жизни, еще юношей, был там проездом из Германии. Никакой связи с этой собственностью не было. Как майорат, это имение нельзя было ни продать, ни заложить, и это спасло от полного разорения. У меня было всегда странное отношение к собственности. Я не только не считал собственность священной, но и никогда не мог освободиться от чувства греховности собственности. Сильное чувство собственности у меня было только на предметы потребления, особенно на книги, на мой письменный стол, на одёжу. Деньги, необходимые для жизни, мне казались дарованными Богом, чтобы я мог отдаться единственно творчеству. При этом у меня была некоторая расчетливость при крайней непрактичности. Если не считать моего детства и юности, то большую часть жизни я испытывал материальную стесненность, а иногда и критическое положение. Мальчиком я обыкновенно проводил лето в великолепном имении моей тети, Ю. Н. Гудим-Левкович. С семьей Гудим-Левковичей, которая представляла один из центров киевского светского общества, мы были очень связаны. Наша семья была невеселая. В доме Гудим-Левковичей бывало много молодежи, веселились. С кузинами я был дружен, особенно с

Наташей, с которой у меня сохранились отношения и в Париже, до ее трагической кончины. Это была семья благополучная. В нашей же семье я всегда чувствовал неблагополучие, неприспособленность к жизни, надлом, слишком большую чувствительность. Она уже вышла из крепкого, оформленного быта и менее всего приспособилась к новому буржуазному быту. У отца моего происходил перелом миросозерцания, он все более проникался либеральными взглядами, порывал с традициями и часто вступал в конфликт с окружающим обществом. Надлом в нашу семью внесли отношения между моими родителями и семьей моего брата, который был на пятнадцать лет старше меня. Семья брата имела огромное значение в моей жизни и моей душевной формации. Брат был человек очень одаренный, хотя совсем в другом направлении, чем я, очень добрый, но нервно больной, бесхарактерный и очень несчастный, не сумевший реализовать своих дарований в жизни. У нас образовалась атмосфера, родственная Достоевскому.

* * *

В детстве и юности я знал мир феодально-аристократический высшего стиля. Это связано с польскими родственниками моей матери. Графиня Марья Евстафьевна Браницкая, урожденная княжна Сапега, была кузиной моей матери, муж ее был двоюродным дядей моей матери. Она была

близким другом моей матери, и в моем детстве мы часто у них жили. Был даже особенный павильон, предназначенный для нашей семьи. Браницкая была владелицей города Белая Церковь, у нее было 60 000 десятин в Киевской губернии, были дворцы в Варшаве, Париже, Ницце и Риме. Браницкие были родственники царской семьи. Дочь Екатерины II и Потемкина была выдана замуж за гетмана Малороссии Браницкого. На окраине Белой Церкви была Александрия, летний дворец Браницких, с одним из лучших парков не только России, но и Европы. Это был стиль барокко. Белая Церковь и Александрия представляли настоящее феодальное герцогство, с двором, с неисчислимым количеством людей, питавшихся вокруг двора, с огромными конюшнями породистых лошадей, с охотами, на которые съезжалась вся аристократия Юго-Западного края. За обедом давали до пятнадцати утонченных блюд. Осенью мы постоянно жили с матерью в Белой Церкви. У меня был кабриолет с двумя пони, я сам правил и ездил в лес за грибами, сзади сидел кучер в польской ливрее. Кроме того, был осел, на котором я ездил по парку. Но я бывал в Белой Церкви и значительно позже, уже студентом и социал-демократом. Я иногда ездил туда на месяц для уединенных занятий и жил в зимнем дворце гетмана Браницкого. Но я никогда не любил этого мира и еще в детстве был в оппозиции. Я всегда чувствовал большое несоответствие между мной и стилем Браницких, хотя графиня Браницкая, светски умная и с большим шармом, была

со мной очень мила и тогда, когда я был уже марксистом и приезжал после споров с Луначарским. Но я всегда одевался элегантно, у меня всегда была склонность к франтовству, и я обращал большое внимание на внешность. Я всегда любил сигары и духи, это для меня характерно. Любил я ходить в уединении по чудесному парку Александрии и мечтать об ином мире. В разгар революции усадьба Браницких была разгромлена, дом сожжен. Сама графиня Браницкая, женщина по-своему гуманная, должна была бежать и скоро умерла. Когда я, будучи марксистом, сидел в салоне Браницкой, то не предполагал, что из марксизма могут произойти такие плоды. В Париже, в период изгнания, я встречал дочь Браницкой – княгиню Битет-Раздвил. К феодальному миру, о котором вспоминаю, как о чем-то доисторическом, принадлежали также светлейшие князья Лопухины-Демидовы. Княгиня Лопухина-Демидова была кузиной моей матери. Ее муж, товарищ моего отца по кавалергардскому полку, был моим крестным отцом. Ольга Валериановна Лопухина-Демидова была женщина высокого стиля, величественная, гордая, властная, очень красивая. Мой отец был с ней в ссоре. Поэтому в их майоратном имении Корсуне я не бывал. Между Браницкими и Лопухиными-Демидовыми была конкуренция в первенстве. Лопухины-Демидовы имели тенденцию к разорению, и их периодически поддерживала царская семья. С тетей Лопухиной-Демидовой я встречался в Берлине, в эмиграции, незадолго до ее смерти. Она выража-

ла большое презрение к русским правым монархистам, чувствуя в них что-то неаристократическое, плебейское. «Союз русского народа» всегда ведь носил плебейский характер, и его чуждалась аристократия. Моя тетя что-то вязала для императрицы Марии Федоровны, с которой была близка, и в то же время презирала русских монархистов и даже главных деятелей не пускала к себе в дом.

* * *

Я воспитывался в военном учебном заведении, в Киевском кадетском корпусе. Но жил дома и был приходящим, что представляло собой исключение. Чтобы поступить в университет, я должен был держать экзамен на аттестат зрелости экстерном. Я не любил корпуса, не любил военщины, все мне было немило. Когда я поступил во второй класс кадетского корпуса и попал во время перемены между уроками в толпу товарищей кадетов, я почувствовал себя совершенно несчастным и потерянным. Я никогда не любил общества мальчиков-сверстников и избегал вращаться в их обществе. Лучшие отношения у меня были только с девочками и барышнями. Общество мальчиков мне всегда казалось очень грубым, разговоры низменными и глупыми. Я и сейчас думаю, что нет ничего отвратительнее разговоров мальчиков в их среде. Это источник порчи. Кадеты же мне показались особенно грубыми, неразвитыми, пошлыми. К тому

же товарищи иногда насмехались над моими нервными движениями хореического характера, присущими мне с детства. У меня совсем не выработалось товарищеских чувств, и это имело последствие для всей моей жизни. Единственным товарищем моего детства был моряк Н. М., которому мой отец помог окончить образование. Я был очень к нему привязан, и отношения сохранились на всю жизнь. Он стал как бы членом нашей семьи. Впоследствии он стал очень храбрым моряком, совершал экспедиции. Он был вместе со мной в ссылке в Вологде. Но в коллективной атмосфере военного учебного заведения я был резким индивидуалистом, очень отъединенным от других. На меня смотрели как на аристократическое дитя, пажа, будущего гвардейца. Преобладали же армейцы. Но мое расхождение с кадетами и со всей кадетской атмосферой имело более глубокие причины. Во мне необычно рано пробудился интерес к философским проблемам, и я сознал свое философское призвание еще мальчиком. Учился я всегда посредственно и всегда чувствовал себя мало способным учеником. Одно время у меня был домашний репетитор. Однажды он пришел к отцу и сказал, что ему трудно заниматься с таким неспособным учеником. В это время я уже много читал и рано задумывался над смыслом жизни. Но я никогда не мог решить ни одной математической задачи, не мог выучить четырех строк стихотворения, не мог написать страницы диктовки, не сделав ряд ошибок. Если бы я не знал с детства французский и немец-

кий языки, то, вероятно, с большим трудом овладел бы ими. Но ввиду знания языков, я имел в этом преимущество перед другими кадетами. Я сносно знал теорию математики и потому мог кое-как обернуться, не умея решать задачи. Я недурно писал сочинения, несмотря на неспособность овладеть орфографией. Лучше других предметов я знал историю и естествознание. Программа кадетских корпусов была близка к программе реальных училищ. Большое значение имела математика, и преподавалась в старшем классе даже аналитическая геометрия и элементы высшей математики. Преподавалось естествознание, ботаника, зоология, минералогия, физика и химия, космография. Поступив в университете на естественный факультет, я лучше других студентов ориентировался в естественных науках. Большое значение имели новые языки. Но греческий и латинский я изучал всего два года, готовясь на аттестат зрелости. Преподавание в киевском корпусе было неплохое, среди преподавателей были даже приват-доценты университета. Директор кадетского корпуса генерал А. был человек хороший, и ко мне он относился хорошо. Но я не мог принять никакого учебного заведения, не мог принять и университета. Психологически я себе объясняю, почему я всегда был неспособным учеником, несмотря на очень раннее мое умственное развитие и на чтение книг, которых в моем возрасте никто не читал. Когда я держал выпускной экзамен по логике, то я уже прочел «Критику чистого разума» Канта и «Логику» Д. С. Милля. Мои

способности обнаруживались лишь тогда, когда умственный процесс шел от меня, когда я был в активном и творческом состоянии, и я не мог обнаружить способностей, когда нужно было пассивное усвоение и запоминание, когда процесс шел извне ко мне. Я, в сущности, никогда не мог ничего пассивно усвоить, просто заучить и запомнить, не мог поставить себя в положение человека, которому задана задача. Поэтому экзамен был для меня невыносимой вещью. Я не могу пассивно отвечать. Мне сейчас же хочется развить собственные мысли. По Закону Божьему я однажды получил на экзамене единицу при двенадцатибалльной системе. Это был случай небывалый в истории кадетского корпуса. Я никогда не мог бы конспектировать ни одной книги. И я, вероятно, срезался бы, если бы мне предложили конспектировать мою собственную книгу. Я очень много читал в течение всей моей жизни и очень разнообразно. Я читаю быстро и легко. С необычайной легкостью ориентируюсь в мире мысли данной книги, сразу же знаю, что к чему относится, в чем смысл книги. Но я читаю активно, а не пассивно, я непрерывно творчески реагирую на книгу и помню хорошо не столько содержание книги, сколько мысли, которые мне пришли в голову по поводу книги. Для меня это очень характерно. Вместе с тем я никогда не мог признать никакого учителя и руководителя занятий. В этом отношении я автодидакт. Во мне не было ничего педагогического. Я понимал жизнь не как воспитание, а как борьбу за свободу. Я сам составлял себе план заня-

тий. Никогда никто не натолкнул меня на занятия философией, это родилось изнутри. Я никогда не мог принадлежать ни к какой школе. Я всю жизнь учился, учусь и сейчас. Но это есть свободное приобщение к мировому знанию, к которому я сам определяю свое отношение. Покупка книг была для меня большим наслаждением. Вспоминаю, как я ходил в большой книжный магазин Оглоблина на Крещатике. Почти каждый день я ходил осматривать новые книги. Любовь к книжным магазинам у меня сохранилась и доныне.

Как я говорил уже, я принадлежу к военной семье со стороны отца и воспитывался в военном учебном заведении. И у меня была антипатия к военным и всему военному, я всю жизнь приходил в плохое настроение, когда на улице встречал военного. Я с уважением относился к военным во время войны, но не любил их во время мира. Будучи кадетом, я с завистью смотрел на студентов, потому что они занимались интеллектуальными вопросами, а не маршировкой. Я около шести лет учился строевой службе. Кадетский корпус был единственным местом, где было физическое воспитание и спорт, конечно, того времени. Гимнастика была обязательным предметом, как и танцы. Отвращение к военщине вызывало во мне нелюбовь к физическим упражнениям. Гимнастика казалась мне скучной, и лишь впоследствии, для гигиены, я делал по утрам гимнастику. Танцы я не любил и танцевал плохо. Балы казались мне необыкновенно скучными. Две вещи, не связанные с интеллектуальной жизнью, требу-

ющие физической умелости, я делал хорошо: я очень хорошо ездил верхом и хорошо стрелял в цель. Ездить верхом я очень любил. Когда мне было около 9 лет, ко мне приезжал казак, он обучал меня верховой езде, мы ездили за город. Я умел ездить по-казачьи и по-кавалерийски. Быстрая езда карьером была для меня наслаждением. В этом я, наверное, превосходил моих товарищей по кадетскому корпусу. Меня огорчало, что потом наступили времена, когда трудно было ездить верхом. Я также хорошо стрелял в цель, почти без промаха. Думая о физическом труде и тренировке тела, я на опыте подтверждаю для себя глубокое убеждение, что человек есть микрокосм, потенциальная величина, что в нем все заложено. Маленьким мальчиком я очень увлекался ремеслами, я был и столяром, и маляром, и щекатуром. Особенно любил столярное ремесло, даже обучался ему в столярной мастерской и делал какие-то рамки и стулья. И сейчас я с любовью вхожу в столярную мастерскую. Одно время был даже огородником и сажал какие-то овощи. Этим как будто бы исчерпались все мои возможности физического труда, и всю жизнь я был неумелым в этой области. Я был также художником и даже очень увлекался живописью. У меня были довольно большие способности к рисованию, и в кадетском корпусе я был одним из первых по рисованию. Я даже кончил рисовальную школу, три года учился. Начал уже писать масляными красками. Настоящего таланта у меня, наверное, не было, были способности. Но как только я сознал свое фи-

лософское призвание, а его я сознал очень рано, еще мальчиком, я совершенно бросил живопись. Я начал писать романы философского направления. Возвращаюсь к своей реакции на кадетский корпус. Когда я наблюдаю современное поколение молодежи, увлеченное милитаризацией и идеалом военного, то это вызывает во мне особенное раздражение, потому что я получил военное воспитание, испытал на себе военную дисциплину, знаю, что такое значит принадлежать к военному коллективу. Пребывание в кадетском корпусе оказало на меня большое влияние в смысле сильной реакции против военной среды и атмосферы. По характеру своему я принадлежу к людям, которые отрицательно реагируют на окружающую среду и склонны протестовать. Это также форма зависимости. Я всегда разрывал со всякой средой, всегда уходил. У меня очень слабая способность к приспособлению, для меня невозможен никакой конформизм. Эта неприспособленность к окружающему миру мое основное свойство. Я никому и ничему никогда не мог подчиниться. Это я проверил на опыте всей моей жизни. Еще до кадетского корпуса, совсем маленьким, я надевал белый кавалергардский мундир моего отца, ленты и звезды моего деда. Меня интересовал образ Суворова. Я даже делал план сражения. На этом были совершенно изжиты мои милитаристические наклонности. Некоторая воинственность моего характера целиком перешла в идейную борьбу, в сражения в области мысли. Все военное было для меня нестерпимым, ибо делало человека подчи-

ненной частью коллективного целого. Я даже избегал соблюдать кадетскую форму. Не стриг коротко волос, как полагалось кадетам. Старался избегать встреч с генералами, чтобы не становиться во фронт. Ни с одним товарищем по кадетскому корпусу у меня не возникло никаких отношений. Тут большую роль играла моя скрытность. Затрудняла товарищеские отношения со мной также моя вспыльчивость. Со мной не очень приятно было играть в карты, потому что я мог прийти в настоящее бешенство против моего партнера. Кстати, любовь к карточной игре и притом с азартом я изжил мальчиком и более к этому не возвращался. Любовь к философии, к познанию смысла жизни вытесняла во мне все. В моей природе есть кавалергардские инстинкты, но они были мной задавлены и вытеснены. Преодоление их усложнило мою натуру. О произошедшем во мне перевороте речь впереди. До переворота у меня было много неприятных черт, от которых я освободился. Я был переведен в пажеский корпус и должен был жить в Петербурге у сановного двоюродного брата моего отца. Вместо этого переезда я осуществил свою мечту, вышел из шестого класса кадетского корпуса и начал готовиться на аттестат зрелости для поступления в университет. Вспоминая прошлое, должен сказать, что единственный быт, с которым у меня была какая-то связь, есть все-таки помещичий, патриархальный быт. Я очень любил русскую деревню и тоскую по ней и сейчас.

* * *

Огромную роль в моей жизни играли болезни. В этом отношении я с детства пережил травмы. Я считаю себя человеком храбрым, морально храбрым в максимальном смысле, но и физически храбрым в важные моменты жизни. Я это доказал во многих опасных случаях моей жизни. Возможно, что тут играет роль моя военная наследственность. Но в этом отношении моя храбрость имеет границы, и я малодушен и труслив. Я страшно боюсь болезней, болезни внушают мне почти мистический ужас. Ошибочно было бы это объяснить страхом смерти. У меня никогда не было особенно страха смерти, это не моя черта. Если я боюсь смерти, то не столько своей, сколько близких людей. Я боюсь именно болезней, заразы, всегда представляю себе дурной исход болезни. Я человек мнительный. И это относится не только ко мне, но в такой же степени к другим. Мое сильно развитое воображение направлено в худшую сторону. Мне кажется, что я не боюсь быть убитым пулей или бомбой. Я это проверил на опыте в дни октябрьского переворота 17 года в Москве, когда бомбы летали над нашим домом и одна разорвалась в нашем дворе. Я в это время продолжал писать. Я также совершенно не боялся бомбардировок Парижа. Но я боюсь заразиться тифом, дифтеритом, даже простым гриппом. Отчасти это объясняется тем, что в нашей семье болез-

ни играли огромную роль. Я мало подвергаюсь внушению, но в детстве мне была внушена мысль, что жизнь есть болезнь. Лучший профессор медицины приезжал осматривать всех членов нашей семьи. У моей матери в течение 40 лет была тяжелая болезнь печени. По ночам были припадки печени с прохождением камней, и я слышал ее крики. Каждый раз думали, что она может умереть. Это очень тяжело на меня действовало. Отец постоянно лечился. Меня самого постоянно лечили. Совсем маленьким я год пролежал в кровати, у меня была ревматическая горячка. Семья наша была необыкновенно нервной. У меня была нервная наследственность, выражающаяся в моих нервных движениях. Это, вероятно, связано с судорожностью моей натуры, мои душевные движения также судорожны. Особенная нервность была со стороны отца. Мать часто говорила, что Бердяевы не совсем нормальны, Кудашевы же нормальны. Мой брат был человек нервно больной в тяжелой форме. Многие находили, что у него были ненормальности. С этим связаны у меня травмы, сохранившиеся в моем подсознательном. Мне часто в семье приходилось играть роль посредника. Семья брата была для меня первым выходом из аристократической среды и переходом в другой мир. Брат был человеком, готовым отдать последнее. Деньги не могли у него удержаться и одного дня. И он всегда был в затруднительном положении. У него было очень красивое, почти греческое лицо. Но он периодически опускался, не брился, не мылся, одевался так,

что производил впечатление оборванца. Потом вдруг появлялся очень элегантным. У него были способности, которых не было у меня, была изумительная память, дар к математике и языкам. Он писал стихи даже по-немецки, но не было никакой склонности к философии. В семье брата я рано столкнулся с явлениями оккультизма, к которым был в решительной оппозиции. Мой брат иногда впадал в трансы, начинал говорить рифмованно, нередко на непонятном языке, делался медиумом, через которого происходило сообщение с миром индусских махатм. Однажды через брата, находившегося в состоянии транса, махатма сказал обо мне: «Он будет знаменит в Европе вашей старой». Эта атмосфера действовала на меня отрицательно, и я боролся против нее. Но атмосфера была напряженной, были напряженные духовные интересы.

В моей семье совершенно отсутствовала авторитарность. Я в ней не чувствовал инерции традиционного быта. В ней было что-то заколебавшееся. Она принадлежала к толстовскому кругу, но было что-то от Достоевского. Уже в моем отце, во вторую половину жизни, было что-то переходное от наших предков ко мне. Меня никогда не стесняли и не насиловали. Я не помню, чтобы меня когда-либо наказывали. Вероятно, из гордости я себя держал так, чтобы не было и поводов для наказания. В детстве я никогда не капризничал и не плакал, мне были мало свойственны и детские шалости. Единственное, что мне было свойственно, это припадки

вспыльчивости. Отца всегда пугало, когда я делался белым как полотно от припадка вспыльчивости. Мне свойственна изначальная свобода. Я эмансипатор по истокам и пафосу. Во мне образовался собственный внутренний мир, который я противополагал миру внешнему. Это выражалось и в том, что я любил устраивать свою комнату и выделять ее из всей квартиры, не выносил никаких посягательств на мои вещи. С детства собирал собственную библиотеку. Думаю, что мне всегда был свойствен эгоизм, эгоизм главным образом защитительный. Но я не был эгоцентриком, то есть не был исключительно поглощен собой и не относил всего к себе. Я всегда был педантически аккуратен, любил порядок в распределении дня, не выносил ни малейшего нарушения порядка на моем письменном столе. Это обратная сторона моего прирожденного анархизма, моего отвращения к государству и власти. Помню один важный разговор, который имел со мной отец. Во время разговора отец заплакал. Разговор этот имел для меня большое значение, после него многое во мне изменилось, и я благодарно об этом вспоминаю. Отец меня очень любил, и эта любовь со временем вырастала. С матерью отношения были более легкими. В ней всегда чувствовалось что-то французское, и в ней было больше светскости, чем в отце. Вместе с тем в ней было много доброты. Я не любил светское аристократическое общество, и с известного момента это превратилось в глубокое отталкивание и жажду полного разрыва. Я никогда не любил эли-

ты, претендующей на аристократизм. Мой собственный аристократизм сказывался в отталкивающем чувстве, которое мне внушали parvenus и арривисты, люди, проталкивающиеся из низов к верхним слоям, нелюбви к подбору, который я считаю не аристократическим принципом. Аристократизм определяется по происхождению, а не по достижению. В детстве у меня, наверное, были аристократические предрассудки. Но в бурной реакции, или, вернее, революции, я победил их; в аристократическом обществе я не видел настоящего аристократизма и видел чванство, презрение к низшим, замкнутость. В России не было настоящих аристократических традиций. У меня была, конечно, «господская» психология, предки мои принадлежали к «господам», к правящему слою. Но у меня это соединялось с нелюбовью к господству и власти, с революционным требованием справедливости и сострадательности. Я принадлежу к «кающимся дворянам», хотя одно время усиленно боролся против такой душевной формации. Отец мой потом смеялся над моим социализмом и говорил, что я барин-сибарит более, чем он. В сущности, я стремился не к равенству и не к преобладанию и господству, а к созданию своего особого мира.

* * *

С детства я жил в своем особом мире, никогда не сливался с миром окружающим, который мне всегда казался не мо-

им. У меня было острое чувство своей особенности, непохожести на других. О схожем чувстве говорит А. Жид в своем «Дневнике», но причины иные. Внешне я не только не старался подчеркнуть свою особенность, но наоборот, всегда старался сделать вид, притвориться, что я такой же, как другие люди. Это чувство особенности не следует смешивать с самомнением. Человек огромного самомнения может себя чувствовать слитым с окружающим миром, быть очень социализированным и иметь уверенность, что в этом мире, совсем ему не чуждом, он может играть большую роль и занимать высокое положение. У меня же было чувство неприспособленности, отсутствие способностей, связанных с ролью в мире. Меня даже всегда удивляло, что впоследствии, при моей неспособности к какому-либо приспособлению и конформизму, я приобрел большую европейскую и даже мировую известность и занял «положение в мире». Я даже стал «почтенным» человеком, что мне кажется совсем не соответствующим моей беззаконной и возмутившейся природе. Вместе с тем это мое коренное чувство не следует смешивать с complex d'inferiorite[7], которого у меня совсем нет. Я отнюдь не застенчивый человек, и я всегда говорил и действовал уверенно, если это не касалось деловой, «практической» стороны жизни, где я всегда себя чувствовал беспомощным. В обыденной жизни я был скорее робок, неумел, не самоуверен и был мужествен и храбр, лишь когда речь шла об идейной борьбе или в минуты серьезной опасности. Чув-

ство жизни, о котором я говорю, я определяю как чуждость мира, неприятие мировой данности, неслиянность, неукорененность в земле, как любят говорить, болезненное отвращение к обыденности. Часто это называли моим «индивидуализмом», но я считаю это определение неверным. Я не только выхожу из себя к миру мысли, но и к миру социальному. Человек есть сложное и запутанное существо. Мое «я» переживает себя как пересечение двух миров. При этом «сей мир» переживается как не подлинный, не первичный и не окончательный. Есть «мир иной», более реальный и подлинный. Глубина «я» принадлежит ему. В художественном творчестве Л. Толстого постоянно противополагается мир лживый, условный и мир подлинный, божественная природа (князь Андрей в петербургском салоне и князь Андрей, смотрящий на поле сражения на звездное небо). С этой темой связана для меня роль воображения и мечты. Действительности противостоит мечта, и мечта в каком-то смысле реальнее действительности. Это могут определить как романтизм, но тоже неточно. У меня всегда было очень реалистическое, трезвое чувство действительности, была даже очень малая способность к идеализации и к иллюзиям. Но что казалось мне всегда очень мучительным и дурным, так это моя страшная брезгливость к жизни. Я прежде всего человек брезгливый, и брезгливость моя и физическая, и душевная. Я старался это преодолеть, но мало успевал. У меня совсем нет презрения, я почти никого и ничего не прези-

раю. Но брезгливость ужасная. Она меня всю жизнь мучила, например, в отношении к еде. Брезгливость вызывает во мне физиологическая сторона жизни. Я прошел через жизнь с полузакрытыми глазами и носом вследствие отвращения. Я исключительно чувствителен к миру запахов. Поэтому у меня страсть к духам. Я хотел бы, чтобы мир превратился в симфонию запахов. Это связано с тем, что я с болезненной остротой воспринимаю дурной запах мира. У меня есть брезгливость и к самому себе. Думаю, что брезгливость связана у меня со структурой моего духа. Душевная брезгливость у меня не меньшая. Дурной нравственный запах мучит меня не меньше, чем дурной физический запах. Брезгливость вызывают интриги жизни, закулисная сторона политики. Я не эстет по своему основному отношению к жизни и имею антипатию к эстетам. Моя преобладающая ориентировка в жизни этическая. По типу своей мысли я моралист. Но у меня всегда был сильный чувственно-пластический эстетизм, я любил красивые лица, красивые вещи, одёжу, мебель, дома, сады. Я люблю не только красивое в окружающем мире, но и сам хотел быть красивым. Я страдал от всякого уродства. Прыщик на лице, пятно на башмаке вызывали уже у меня отталкивание, и мне хотелось закрыть глаза. У меня была необыкновенная острота зрения, один окулист сказал мне, что оно вдвое сильнее нормального. Входя в гостиную, я видел всех и все, малейший дефект бросался мне в глаза. Я всегда считал это несчастным свойством. В мире,

особенно в человеческом мире, больше уродства, чем красоты. Я замечаю, что у меня отсутствует целый ряд дурных страстей и аффектов, вероятно, потому, что я не приобщаюсь до глубины к борьбе и соревнованию, которые происходят в мировой жизни. Я совершенно неспособен испытывать чувства ревности, мне не свойствен аффект зависти, и нет ничего более чуждого мне, чем мстительность, у меня атрофировано совершенно всякое чувство иерархического положения людей в обществе, воля к могуществу и господству не только мне несвойственна, но и вызывает во мне брезгливое отвращение. Слишком многие страсти, господствующие над жизнью людей, мне чужды и непонятны. Это могут объяснить ущербностью моей природы, безразличием ко многому, прежде всего безразличием к успехам в жизни. Я боролся с миром не как человек, который хочет и может победить и покорить себе, а как человек, которому мир чужд и от власти которого он хочет освободить себя.

Я лишен изобразительного художественного дара. В моей выразительности есть бедность, бедность словесная и бедность образов. Я бы не мог написать романа, хотя у меня есть свойства, необходимые беллетристу. Я полон тем для романов, и в моей восприимчивости (не изобразительности) есть элемент художественный. Я прежде всего должен признать в себе очень большую силу воображения. Воображение играло огромную роль в моей жизни, и часто несчастную для меня роль. В воображении я переживал несчастье

и страдал с большей остротой, чем в действительности. Я находил в себе духовные силы пережить смерть людей, но совершенно изнемогал от ожидания этой смерти в воображении. Когда я читал Memoires d'outre tombe[8] Шатобриана, то меня поразила одна черта сходства с ним, несмотря на огромное различие в других отношениях. Как у Шатобриана, у меня очень сильное воображение, гипертрофия воображения и именно вследствие этого невозможность удовольствоваться какой-либо действительностью и реальностью. Но сила воображения, конечно, не связана у меня с даром художественной изобразительности, как у Шатобриана. Отношение к женщинам определялось у Шатобриана именно силой воображения, не соответствующего действительности. Меланхолия сопровождала всю жизнь Шатобриана, несмотря на исключительный успех, славу, блеск его жизни. Он ни от чего не мог испытать удовлетворения. Я тоже почти ни от чего не могу испытать удовлетворения и именно вследствие силы воображения. Подобно Шатобриану, я ухожу из каждого мгновения жизни. Каждое мгновение мне кажется устаревшим и не удовлетворяющим. О Ницше еще было сказано родственное мне. У Ницше была огромная потребность в энтузиазме, в экстазе, при брезгливом отвращении к действительной жизни. Это мне очень близко. У меня есть потребность в энтузиазме, и я испытывал в жизни энтузиазм. У меня были творческие экстазы. Но брезгливое отношение к жизни, демон трезвости, малая способность к эротической

идеализации действительности подкашивали мой энтузиазм. У меня не было романтического отношения к действительности, наоборот, было очень реалистическое, у меня было романтическое отношение к мечте, противоположной действительности. Мне еще близко то, что сказал о себе вообще не близкий мне Морис Баррес: «Mon evolution ne fut jamais une course vers quelque chose, mais une fuite vers ailleurs»[9]. Я всегда чувствовал себя далеким от того, что называют «жизнью». Я, в сущности, не любил так называемой «жизни», в молодости еще меньше, чем теперь. Впрочем, не точно было бы сказать, что я не люблю жизни. Вернее было бы сказать, что я люблю не жизнь, а экстаз жизни, когда она выходит за свои пределы. И тут я вижу в себе страшное противоречие. Я не был человеком с пониженным жизненным инстинктом, у меня был сильный жизненный инстинкт, была напряженность жизненной силы, иногда переливающей через край. Думаю, что моя нелюбовь к так называемой «жизни» имеет не физиологические, а духовные причины, даже не душевные, а именно духовные. У меня был довольно сильный организм, но было отталкивание от физиологических функций организма, брезгливость ко всему, связанному с плотью мира, с материей. Я люблю лишь формы плоти. Я никогда не любил рассказов об эмоциональной жизни людей, связанных с ролью любви; для меня всегда было в этом что-то неприятное, мне всегда казалось, что это меня не касается, у меня не было интереса к этому, даже когда речь шла о близких

людях. Еще большее отталкивание вызывало во мне все связанное с человеческим самолюбием и честолюбием, с борьбой за преобладание. Я старался не слушать, когда говорили о конкуренции между людьми. Я чувствовал облегчение, когда речь переходила в сферу идей и мысли. Но половая любовь и борьба за преобладание и могущество наполняют то, что называют «жизнью». Мне часто казалось, что я, в сущности, в «жизни» не участвую, слышу о ней издалека и лишь оцарапан ею. И при этом я ко многому в жизни имел отношение и на меня рассчитывали в борьбе, происходившей в жизни. По-настоящему жил я в другом плане. Мне как бы естественно присуще эсхатологическое чувство. Я не любил «жизни» прежде и больше «смысла», я «смысл» любил больше жизни, «дух» любил больше мира. Было бы самомнением и ложью сказать, что я стоял выше соблазнов «жизни», я, наверное, был им подвержен, как и все люди, но духовно не любил их. Для меня не ставилась проблема «плоти», как, например, у Мережковского и других, для меня ставилась проблема свободы. Я не мог мыслить так, что «плоть» греховна или «плоть» свята, я мог мыслить лишь о том, есть ли «плоть» отрицание свободы и насилие или нет. Моя изначальная, ранняя любовь к философии и к философии метафизической связана с моим отталкиванием от «жизни», как насилующей и уродливой обыденности. Мне доставляло мало удовлетворения переживание самой жизни, за исключением творчества, больше наслаждения я испытывал от вос-

поминания о жизни или мечты о жизни. И самым большим моим грехом, вероятно, было то, что я не хотел просветленно нести тяготу этой обыденности, то есть «мира», и не достиг в этом мудрости. Но философия моя была, как теперь говорят, экзистенциальна, она выражала борения моего духа, она была близка к жизни, жизни без кавычек. Еще об отношении к тому, что называют «жизнью», и об аскезе. Физиологические потребности никогда не казались мне безотлагательными, все мне представлялось зависящим от направленности сознания, от установки духа. Близкие даже иногда говорили, что у меня есть аскетические наклонности. Это неверно, мне, в сущности, чужд аскетизм. Я был с детства избалован, нуждался в комфорте. Но я никогда не мог понять, когда говорили, что очень трудно воздержание и аскеза. Мне это казалось выдумкой, ложным направлением сознания. Когда мне кто-нибудь говорил, что воздержание от мясной пищи дается трудной борьбой, то мне это было мало понятно, потому что у меня всегда было отвращение к мясной пище, и я должен был себя пересиливать, чтобы есть мясо. Никакой заслуги в этом я не вижу. Труднее всего мне было выносить плохой запах. Я никогда не знал усталости, мог спорить целую ночь, мог бегать с необыкновенной быстротой. Сейчас знаю усталость от возраста и болезней. Болел я часто и в прошлом, но у меня находили почти атлетическое сложение. Мне всегда казалось неверным и выдуманным, что дух должен бороться с плотью (соблазнами плоти). Дух должен бо-

роться с духом же (с соблазнами духа, которые выражаются и в плоти). Но мой дух бывал ложно направленным. У каждого человека кроме позитива есть и свой негатив. Моим негативом был Ставрогин. Меня часто в молодости называли Ставрогиным, и соблазн был в том, что это мне даже нравилось (например, «аристократ в революции обаятелен», слишком яркий цвет лица, слишком черные волосы, лицо, походящее на маску). Во мне было что-то ставрогинское, но я преодолел это в себе. Впоследствии я написал статью о Ставрогине, в которой отразилось мое интимное отношение к его образу. Статья вызвала негодование.

Очень поверхностно и наивно удивление перед противоречиями человека. Человек есть существо противоречивое. Это глубже в человеке, чем кажущееся отсутствие противоречий. Я усматриваю в себе целый ряд сплетающихся противоречий. Таково, например, сочетание гордости и смирения. Я всегда считал себя существом многопланным и многоэтажным. Меня всегда удивляли, а иногда и смешили отзывы обо мне. Нет ничего мне более чуждого, чем гордая манера себя держать. Я, наоборот, никогда не хотел иметь вид человека, возвышающегося над людьми, с которыми приходил в соприкосновение. У меня была даже потребность привести себя во внешнее соответствие со средними людьми. Поэтому я часто вел самые незначительные разговоры. Я любил стушевываться. Мне было противно давать понять о своей значительности и умственном превосходстве. Это отчасти

объясняется моей крайней скрытностью, охранением своего внутреннего мира и слабой способностью к общению. За этим внешним пластом скрывалась, вероятно, гордость, но гордость, которой я не хотел обнаружить. Я никогда не хотел гордиться перед людьми. Когда уже под старость меня иногда рассматривали как знаменитость, меня это мало радовало и очень стесняло и почти шокировало. Меня всегда соблазняло инкогнито. Если гордость была в более глубоком пласте, чем мое внешнее отношение к людям, то в еще большей глубине было что-то похожее на смирение, которое я совсем не склонен рассматривать как свою добродетель. Это скорее естественное свойство, чем духовное достижение. У меня вообще мало достижений. Я думаю о себе, что я бунтарь, но человек смиренный. Анализируя себя, я по совести должен сказать, что принадлежу к мало самолюбивым людям. Я почти никогда не обижался. Иногда пробовал обидеться, но мне это мало удавалось. Состояние ободранного самолюбия мне было малопонятно, и меня очень отталкивало это состояние в людях. Во мне вообще мало подпольности, хотя это совсем не значит, что у меня мало плохого. Думаю, что много плохого. Но я совсем не принадлежу к типу людей, находящихся в постоянном конфликте с собой и рефлектирующих. В своих писаниях я не выражаю обратного тому, что я на самом деле. Я могу себя скрывать, могу прямо выражать свои противоречия, но мне мало свойственна та компенсация, которой такое значение придает современная

психопатология. То, что я мало самолюбив, я объясняю гордостью. Гордостью же можно объяснить, что я, в конце концов, мало честолюбив и славолюбив. Я никогда не искал известности и славы людской, которая так пленяла князя Андрея и самого Л. Толстого. Немалую роль тут играло и равнодушие. Я мало интересовался тем, что обо мне пишут, часто даже не читал статей о себе. Мне даже казалось, что высокая оценка моей мысли меня стесняет и лишает свободы. Я боялся единомышленников и последователей как стеснения моей творческой свободы. Лучше всего я себя чувствовал при конфликте, тогда мысль моя достигала наибольшей остроты. Свобода духа мне казалась связанной с incognito. Когда в каком-нибудь собрании меня считали очень почтенным и известным, то я хотел провалиться сквозь землю. Это не есть настоящее смирение. Тут слишком много от гордости, равнодушия, изолированности, чуждости всему, жизни в мечте.

Есть еще одно противоречие, которое я остро в себе сознавал. Я всегда был человеком чрезвычайной чувствительности, я на все вибрировал. Всякое страдание, даже внешне мне мало заметное, даже людей совсем мне не близких, я переживал болезненно. Я замечал малейшие оттенки в изменении настроений. И вместе с тем эта гиперчувствительность соединялась во мне с коренной суховатостью моей природы. Моя чувствительность сухая. Многие замечали эту мою душевную сухость. Во мне мало влаги. Пейзаж моей души ино-

гда представляется мне безводной пустыней с голыми скалами, иногда же дремучим лесом. Я всегда очень любил сады, любил зелень. Но во мне самом нет сада. Высшие подъемы моей жизни связаны с сухим огнем. Стихия огня мне наиболее близка. Более чужды стихия воды и земли. Это делало мою жизнь мало уютной, мало радостной. Но я люблю уют. Я никогда не мог испытывать мления и не любил этого состояния. Я не принадлежал к так называемым «душевным» людям. Во мне слабо выражена, задавлена лирическая стихия. Я всегда был очень восприимчив к трагическому в жизни. Это связано с чувствительностью к страданию. Я человек драматической стихии. Более духовный, чем душевный человек. С этим связана сухость. Я всегда чувствовал негармоничность в отношениях моего духа и душевных оболочек. Дух был у меня сильнее души. В эмоциональной жизни души была дисгармония, часто слабость. Дух был здоров, душа же больная. Самая сухость души была болезнью. Я не замечал в себе никакого расстройства мысли и раздвоения воли, но замечал расстройство эмоциональное. Как будто бы оболочки души не были в порядке. Было несоответствие между силой духа и сравнительной слабостью душевных оболочек. Независимость духа я всегда умел отстаивать. Но ничего более мучительного для меня не было, чем мои эмоциональные отношения с людьми. Расстройство эмоциональной жизни выражалось уже в мой гневливости. У меня были не только внешние припадки гнева, но я иногда горел от гнева,

оставаясь один в комнате и в воображении представляя себе врага. Я говорил уже, что не любил военных, меня отталкивало все, связанное с войной. У меня было отвращение к насилию. Но характер у меня воинственный, и инстинктивно я склонен действовать силой оружия. В прошлом я даже всегда носил револьвер. Я чувствую сходство с Л. Толстым, отвращение к насилию, пацифизм и склонность действовать насилием, воинственность. Мне легко было выражать свою эмоциональную жизнь лишь в отношении к животным, на них изливал я весь запас своей нежности. Моя исключительная любовь к животным может быть с этим связана. Эта любовь человека, который имеет потребность любви, но с трудом может ее выражать в отношении к людям. Это обратная сторона одиночества. У меня есть страстная любовь к собакам, к котам, к птицам, к лошадям, ослам, козлам, слонам. Более всего, конечно, к собакам и кошкам, с которыми у меня была интимная близость. Я бы хотел в вечной жизни быть с животными, особенно с любимыми. У нас было две собаки, сначала Лилин мопс Томка, потом скайтерьер Шулька, к которым я был очень привязан. Я почти никогда не плачу, но плакал, когда скончался Томка, уже глубоким стариком, и когда расставался с Шулькой при моей высылке из советской России. Но, может быть, более всего я был привязан к моему коту Мури, красавцу, очень умному, настоящему шармёру. У меня была страшная тоска, когда он был болен. Любовь к животным характерна для семьи моих родителей и для ны-

нешней нашей семьи.

Я говорил уже, что во мне сочетались мечтательность и реализм. Тут, может быть, и нет противоречия, потому что мечта относится к одному, реализм же к совсем другому. Идеализация действительности, иллюзии, склонность очаровываться, а потом разочаровываться противны моей натуре. То, что называют романтическим отношением к действительности, мне совершенно чуждо. Если меня и можно было бы назвать романтиком, помня об условности этого термина, то совсем в особом смысле. Я мало разочаровывался, потому что мало очаровывался. Я не любил возвышенного вранья, возвышенно-нереального восприятия действительности. Верно было бы сказать, что у меня есть напряженная устремленность к трансцендентному, к переходу за грани этого мира. Обратной стороной этой направленности моего существа является сознание неподлинности, неокончательности, падшести этого эмпирического мира. И это во мне глубже всех теорий, всех философских направлений. Я не делаю себе никаких иллюзий о действительности, но считаю действительность в значительной степени иллюзорной. Мне этот мир не только чужд, но и представляется не настоящим, в нем объективируется моя слабость и ложное направление моего сознания. С этим вопросом связан изначальный во мне элемент. Мне не импонирует массивность истории, массивность материального мира. «Священное» в истории, иерархические чины в обществе меня лишь отталки- вают.

Но вот что еще важнее. Я никогда не мог примириться ни с чем преходящим, временным, тленным, существующим лишь на короткий миг. Я никогда не мог ловить счастливых мгновений жизни и не мог их испытать. Я не мог примириться с тем, что это мгновение быстро сменяется другим мгновением. С необычайной остротой и силой я пережил страшную болезнь времени. Расставание мне было мучительно, как умирание, расставание не только с людьми, но и с вещами и местами. Я, очевидно, принадлежу к религиозному типу, который определяется жаждой вечности. «Я люблю тебя, о, вечность», – говорит Заратустра. И я всю жизнь это говорил себе. Ничего нельзя любить, кроме вечности, и нельзя любить никакой любовью, кроме вечной любви. Если нет вечности, то ничего нет. Мгновение полноценно, лишь если оно приобщено к вечности, если оно есть выход из времени, если оно, по выражению Кирхегардта, атом вечности, а не времени. Моя болезнь заключалась в том, что я упреждал события во времени. Я с необычайной остротой переживал события, которые во времени еще не произошли, особенно события тяжелые. Это, конечно, не евангельская и не мудрая настроенность. Мне хотелось, чтобы времени больше не было, не было будущего, а была лишь вечность. И вместе с тем я человек, устремленный к будущему. Проблему времени я считаю основной проблемой философии, особенно философии экзистенциальной. Странно, что этот мир не казался мне беспредельным, бесконечным, наоборот, он мне

казался ограниченным по сравнению с беспредельностью и бесконечностью, раскрывавшейся во мне. Мир, раскрывавшийся во мне, более настоящий мир, чем мир экстериоризированный. Меня часто упрекали в том, что я не люблю достижения, реализации, не люблю успеха и победы, и называли это ложным романтизмом. Это требует объяснения. У меня действительно есть несимпатия к победителям и успевающим. Мне это представляется приспособлением к миру, лежащему во зле. Я действительно не верю, чтобы в этом мировом плане, в мире объективированном и отчужденном возможна была совершенная реализация. Жизнь в этом мире поражена глубоким трагизмом. Это причина моей нелюбви к классицизму, который создает иллюзию совершенства в конечном. Совершенство достижимо лишь в бесконечном. Стремление к бесконечному и вечному не должно быть пресечено иллюзией конечного совершенства. Всякое достижение формы лишь относительно, форма не может претендовать на окончательность.

Всякая реализация здесь есть лишь символ иного, устремленности к вечности и бесконечности. В этом источник духовной революционности моей мысли. Но это революционность трансцендентного, а не имманентного. В противоположность господствующей точке зрения я думаю, что дух революционен, материя же консервативна и реакционна. Но в обыкновенных революциях мир духа ущемлен материей, и она искажает его достижения. Дух хочет вечности. Материя

же знает лишь временное. Настоящее достижение есть достижение вечности.

Вспоминая себя мальчиком и юношей, я убеждаюсь, какое огромное значение для меня имели Достоевский и Л. Толстой. Я всегда чувствовал себя очень связанным с героями романов Достоевского и Л. Толстого, с Иваном Карамазовым, Версиловым, Ставрогиным, князем Андреем и дальше с тем типом, который Достоевский назвал «скитальцем земли русской», с Чацким, Евгением Онегиным, Печориным и другими. В этом, быть может, была моя самая глубокая связь с Россией, с русской судьбой. Также чувствовал я себя связанным с реальными людьми русской земли: с Чаадаевым, с некоторыми славянофилами, с Герценом, даже с Бакуниным и русскими нигилистами, с самим Л. Толстым, с Вл. Соловьевым. Как и многие из этих людей, я вышел из дворянской среды и порвал с ней. Разрыв с окружающей средой, выход из мира аристократического в мир революционный – основной факт моей биографии, не только внешней, но и внутренней. Это входит в мою борьбу за право свободной и творческой мысли для себя. Я боролся за это с яростью и разрывал со всем, что мне мешало осуществлять мою задачу. Сознание своего призвания было во мне очень сильным. У меня было достаточно силы воли для осуществления своей задачи, и я мог быть свиреп в борьбе за ее осуществление. Но я не был человеком выдержанного стиля, я сохранил неопределенные противоречия, я не мог задержаться до конца на чем-

либо ином. Я больше всего любил философию, но не отдался исключительно философии; я не любил «жизни» и много сил отдал «жизни», больше других философов; я не любил социальной стороны жизни и всегда в нее вмешивался; я имел аскетические вкусы и не шел аскетическим путем; был исключительно жалостлив и мало делал, чтобы ее реализовать. Я всегда чувствовал действие иррациональных сил в своей жизни. Я никогда не действовал по рассуждению, в моих действиях всегда было слишком много импульсивного. Я сознавал в себе большую силу духа, большую независимость и свободу от окружающего мира и в обыденной жизни часто бывал раздавлен беспорядочным напором ощущений и эмоций. Я был бойцом по темпераменту, но свою борьбу не доводил до конца, борьба сменялась жаждой философского созерцания. Я часто думал, что не реализовал всех своих возможностей и не был до конца последователен, потому что во мне было непреодолимое барство, барство метафизическое, как однажды было обо мне сказано. Если бы я был демократического происхождения, вероятно, был бы менее сложен и во мне не было бы некоторых черт, которые я ценю, но я больше сделал бы и дела мои были бы более сосредоточенными и последовательными. Если во мне был эгоизм, то это был скорее эгоизм умственного творчества, чем эгоизм наслаждений жизни, к которым я никогда не стремился. Я никогда не искал счастья. Во имя своего творчества я мог быть жестоким. В умственном творчестве есть этот элемент.

Intellectuel, мыслитель, в известном смысле урод. Во мне всегда происходила борьба между охранением своего творчества и жалостью к людям. Нужно отличать «я» с его эгоистичностью от личности. «Я» есть первичная данность, и оно может сделаться ненавистным, как говорил Паскаль. «Личность» же есть качественное достижение. В моем «я» есть многое не от меня. В этом сложность и запутанность моей судьбы.

# Глава II
# Одиночество. Тоска. Свобода. Бунтарство. Жалость. Сомнения и борения духа. Размышление об эросе

*«Я стал философом, пленился «теорией», чтобы отрешиться от невыразимой тоски обыденной «жизни».*

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.